

Виль Владимирович Липатов

**Житие Ванюшки Мурзина
или любовь в Старо-
Короткине**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
В46

B46 **Виль Владимирович Липатов**
Житие Ванюшки Мурзина или любовь в Старо-Короткине / Виль Владимирович Липатов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 156 с.

ISBN 978-5-458-04084-6

ISBN 978-5-458-04084-6

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

В.Липатов
Житие Ванюшки Мурзина или
любовь в Старо-Короткине.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Сколько бы раз ни выходила замуж Любка Ненашева, столько раз и звала бы она на свадьбу Ивана Мурзина. Выросли они в соседних дворах, учились вместе и на колхозной работе, когда посыпали на помочь школьников, находились всегда поблизости. Если, скажем, Любка вершит стог, то Иван подает навильники наверх; если Любка, например, копнит сено, то Иван возит копны к стогам. В шестом классе Любка, стоя возле своего прясласла в праздничном белом переднике, вечером с первого на второе сентября, прямо сказала, что выйдет за Ивана замуж, когда им в сельсовете позволят расписаться. «Ты мне, Вань, сразу три шелковых платья купи!» Он пообещал. Любка обрадовалась и согласилась пойти к матери Ивана – колхозной знаменитой телятнице тетке Прасковье. Телятница сказала: «Погодите платья шелковы покупать! Еще сколь времени ходить в коричневом... Дай, Любаша, я тебе воротничок кружевной поровнее подошью!»

Мать не ошиблась: рано было Ивану покупать шелковые платья, но ошиблась, что еще долго Любке придется носить шерстянные коричневые. Как только Любке исполнилось восемнадцать, бросив школу в девятом классе, сыграла она первую свою свадьбу – шумную, людную и богатую.

Женился на Любке – сама присватала – учитель литературы и русского языка Марат Ганиевич Смирнов, черный из себя, как жук, и вежливый, как в кино. Выйдет, скажем, ученик к доске, Марат Ганиевич ему: «Пожалуйста!» – кончит ученик отвечать на самую последнюю двойку, Марат Ганиевич ему опять же: «Спасибо!» В учительской, как придет на работу, всем учительницам руки перецелует, со всех пальто снимет и повешает в шкаф, каждой скажет: «Выглядите чудесно, прекрасно!» Иван Мурzin до свадьбы, конечно, уважал Марата Ганиевича, но пятерку по литературе заслужил только один раз: когда проходили «Слово о полку Игореве»: оказалось, он лучше всех разбирается в древнерусском. Почему – этого Марат Ганиевич не понял, но Иван упрямо твердил:

– А отец моего деда похоже разговаривал. Каждое слово – старинное...

Костюмов у Марата Ганиевича – ему отец, председатель соседнего колхоза, деньгами помогал – было пять, галстуков, рассказывали, тридцать, ботинок и туфель – пар десять, а носков – тех не меньше полусотни. Сегодня придет в пижонском костюме, завтра – в маренговом, послезавтра – в электрик, и все расшивье, как в модном журнале. С пальтишками у него поуже – короткие да с отворотами, а зимой бегал в тоненькой, а рыбьем меху дубленке! У Ивана Мурзина полушибок тоже был, но длинный, на сильном меху, черный. В таком-то можно было возле Любкиной калитки хоть всю ночь простоять, а вот как Марат Ганиевич в своей дубленке по часу и больше простоявал до свадьбы с Любкой, люди понять не могли и сильно жалели учителя.

Свадьбу Любки с Маратом Ганиевичем играли по весне, далеко за Первомай, когда пошла в цвет черемуха и начали брать на живку отощавшие за зиму караси на Дальних и Ближних озерах. За три дня до свадьбы прошли теплые и длинные грозовые дожди, промыли деревню чисто, как старательная хозяйка горницу, и новые деревянные тротуары запахли смолой, стали по ночам часто с неба падать

звезды, и кони на конюшне ржали тревожнно, били коваными копытами в стойла, а утрами, туманными и солнечными, рожок пастуха деда Сидора пел тонко и сладко, и звуки его словно пахли медом.

На свадьбу мать запретила Ивану надевать выходной костюм, он засупротивился, и тогда Прасковья костюм заперла на ключ, выкрикивая: «Себя мучит, а лучший костюм надрючиват! Был бы, послала бы на свадьбу в дерюжном!» Почему она так разорялась, Иван понимал так: дескать, мы, Мурзины, люди простые, а они, учитель Марат Ганиевич, – другое дело. Всем женщинам руки перепелует, пальто подержит, когда одеваются, повесит, когда снимут. Он знал говорить на английском. А у Ивана с английским языком плохо: нижняя губа у него толстая, быстро шевелиться не хочет, и поэтому английским словам получаться трудно.

Свадьбу Любки Ненашевой Иван Мурзин – стыдно сказать! – помнил плохо. Ну пришли из района в красных лентах и воздушных шариках две черные «Волги», втиснулись в них самые близкие люди невесты и жениха; Ванюшка тоже втиснулся как самый близкий, а что было дальше – туман. Что происходило в сельсовете, как стояли Любка с Маратом Ганиевичем перед председательшей, Ванюшка слабо помнит, все больше по мелочам: например, что Марат Ганиевич надел шерстяной черный костюм, галстук – красный, ботинки – черные, лакированные, похожие на его волосы, намазанные бриллиантином. Носки были на учителе литературы тоже красные, как галстук, но еще краснее – до отказа. На них Ванюшка и смотрел, пока, вся в бантах, председательша сельсовета Елизавета Сергеевна Бокова допрашивала: «Согласны?» «Согласен!», «Согласны?» Согласна!» – и почему-то думал, что красный галстук и носки до хорошего не доведут, если Марат Ганиевич в старших классах, почитав свои стихи и глядя в потолок, говорил такое: «Я решил всю свою жизнь посвятить поэзии!» Зачем же тогда женился на Любке, если всю свою жизнь посвящал поэзии?

В год, когда Любка ходила в невестах, Иван учился тоже в девятом, но был ее моложе на год и два месяца. Она, лентяйка, в пятом классе сидела два года, и теперь, конечно, была такой, что будьте осторожны! Понятно, что Марат Ганиевич очумел от Любкиных тесных платьев и всегда пухлых губ, словно минуту назад она с кем-то взасос целовалась. От этого Марат Ганиевич в конце урока спрашивал: «Не почитать ли вам мои стихи, друзья?» Он читал с закрытыми глазами, и Ванюшка, слушая, тоже закрывал глаза, чтобы было интереснее, но увы, без толку. Казалось Ванюшке, что это не стихи, а вроде, произносит слова человек, а для чего, сам не знает.

Изумрудное небо печально сейчас, В этот сладостный миг, в этот сладостный час. От любви умереть я бы смог, ты скажи, Над могилой моей будут реять стрижи.

Ванюшке теперь подумалось, что стихи походили на самого Марата Ганиевича при красных носках, черном костюме и красном галстуке.

Учитель на свадьбе тоже прочел два стихотворения, но не про любовь, а про космос, и все хлопали, как артисту, и он кланялся, как артист – прижал руки к груди, а головой делал такое, что походил на курицу, когда она клюет зерно. После стихов про космос гости выпили по очередной, зашумели и стеснительно-поначалу-запели про «священное море», а как пропели до конца душевно и хорошо, жених, то есть Марат Ганиевич, поднялся, взял в левую руку бокал с

шампанским:

— Дорогие гости, мои вновь обретенные друзья из совсем недавно мне не понятной и чуждой деревни, ставшей отныне родной и беспредельно близкой. Поясной поклон вам за любовь и ласку, за чуткость человеческую!

Иван Мурзин, слегка охмелея, не понимал, зачем привирает преподаватель литературы Марат Ганиевич Смирнов. Почему это вдруг Старо-Короткино ему непонятно и чуждо, если он родился и вырос в деревне Суготе, до которой отсюда всего двадцать пять километров. Там полдеревни населяли татары, которые давно забыли родной язык, крестясь еще до революции, принимали русские имена и фамилии, и отца Марата Ганиевича звали Григорием Аверьяновичем. А вот учитель рассказывал, что родина его — Баку, город культурный и такой же древний, как сам мир. У него и стихи были про Баку: «Старый город, новый город, как тебя мне не любить!...» Чудило.

Когда Марат Ганиевич после шампанского выпил еще и полстакана водки, то, сильно закидывая голову назад, прочел еще одно стихотворение — наверное, про невесту.

Твоих плечей мелованная бель,
Твоих колен округлое сиянье,
Ты мой покой, ты колыбель,
Ты жизнь, ты центр мирозданья.

Всю свадьбу Иван с тоской думал, что будет, когда пир кончится и молодые улягнутся на две толстые перины и восемь подушек, одна одной больше или меньше — нет разницы. Но дальше подушек этих мысли не шли, и тогда Ванюша начинал придумывать, что учитель молодую жену и об печку бить станет или того хуже: сорвет со стенки дробовик и убьет. Марат Ганиевич хоть и не родился в Баку, все равно черный был, как жук, значит, ревнивый должен быть до затмения сознания.

Этой еще весной, как раз в женский мартовский праздник, подгадав, верно, к такому раннему часу, когда знатная телятница Прасковья уже уехала в район сидеть в президиуме, Любка без стука влезла в дом, найдя Ивана еще в постели, тяжело дыша и кусая в кровь губы, боком вплотную подсела на кровать, кутаясь в плашишко, который отчего-то не скинула в сенях, и подбирав под него голые колени.

— Я всю ночь не спала, Иван, все думала о тебе, о себе и о Марате Ганиевиче, — лихорадочно заговорила она, а что еще говорила, что отвечал ей Ванюшка — это все он не мог потом вспомнить, хоть убей, — запомнилось только, как, обхватив обеими руками его лицо, целовала его Любка горячими губами и как дрожь ее передалась ему, а потом вдруг Иван почувствовал себя так, как было год назад, когда его засосало крученое обское улово, — собрался умирать, а сам, мертвый от страха и от жалости к ней, гладил, ласкал, прижимал Любку, делал что-то с ней, выскоцнувшей из своего плашишка и в одной тоненькой рубашке оказавшейся как-то у него под одеялом, а что делал, не понимал.

Потом Любка легла на бок, лицом к стенке и сказала тихо:

— Ну вот, теперь и замуж можно. Иван подумал и сказал:

— Выходи за меня...

Любка повернулась к нему, приподнялась, вытаращилась, открыла рот, как молодой скворец:

— За тебя? Ну, Ванюшка, ты чокнулся! Какой из тебя муж, если мы вместе в детсад ходили и огурцы с чужих огородов воровали? Муж — это совсем другое... Ну какой же ты муж, если ты просто Ванюшка Мурзин? Сильно смешно получается!

— В шестом классе еще обещала, — глупо сказал Ванюшка. Она всплеснула руками.

— Да я же понарошке, Иван, по-кукольному, вроде игры в жениха и невесту... Ты чего, будто в воду опущенный? Ты для меня всегда Ванюшка Мурзин — вот как мы с тобой сегодня-то... Ну, засмеись, добром прошу! Кому говорят, а то мне муторно, Что ты невеселый... Никуда я не денусь, если буду жить с Маратом Ганиевичем! Давай, давай хорошую улыбку!

Потом оба понемножку успокоились, Любка закуталась в свой плащишко, сели рядом на лавку, чтобы смирно глядеть из окна, слушать, как на морозной еще Оби трещит лед да большим комаром зудит деревенская электростанция. Досиделись, досмотрелись и дослушались до того, что Любка вдруг начала беззвучно плакать и глотать слезы, а Иван решил, что школу тоже бросит, перейдет в вечернюю: муторно сидеть и слушать Марата Ганиевича, если он будет в класс приходить из Любкиной кровати. Вдруг найдет затмение на Ивана, была нужда таскаться тогда по судам, тюрьмам и колониям. «Конечно, какой я жених! — медленно рассуждал Иван. — Нижняя губа такая, что английские слова не получаются. И нос кривой... Права мамка, куда мне в калашный ряд. Какой я муж? Смех один!»

А на самом деле ничего такого нежениховского не было в Ванюшке Мурзине, а, может быть, наоборот, Марат Ганиевич на жениха и мужа для Любки рылом не вышел. Рост у Ванюшки без трех сантиметров два метра, плечиши — шире тракторного передка, голова — пивной котел, волосы русые и прямые, глаза голубые. Учительница английского языка Элла Николаевна, что похожа на американскую артистку, с Ванюшкой Мурзина целыми уроками глаз не спускала, а когда встречала на улице, краснела и запиналась даже на русских словах. Она была такая старательная, что и в деревне со своими учениками говорила на английском...

— Иван, а Иван! — сквозь слезы позвала Любка. — А ведь трудно мне будет с Маратом Ганиевичем. Шибко он культурный. И говорит, что любит на обед люля-кебаб. А я его и в глаза не видела...

Иван вздохнул.

— Книжку купиши. «О здоровой и вкусной пище»... Я за другое опасаюсь.

— За что, Ванюшк?

— Жизнь посвятили поэзии. А я читал, что если человек жизнь посвятил поэзии, то не ест, не пьет, с утра до вечера при свечах сидит. Напишет — порвет, напишет — порвет... Чтобы одну страницу написать, надо сто или двести порвать...

Любка наморщила лоб, посоображала и всплеснула руками.

— Марат Ганиевич бумагу не рвут, — весело засмеялась она, — они машинку купили и на ней пишут стихи. Ошибки — ну ни одной...

...На свадьбе Ивана Мурзина посадили с Любкиным отцом комбайнером Иваном Севастьяновичем, который пить начал с пятницы, за день до свадьбы, и, налакавшись, на всех перекрестках поносил «суготского шибзика», хотя и так уж вся деревня давно знала, что учителя Марата Ганиевича отец Любки не терпел,

говорил, что если учитель его дочку обидит, то бить его Иван Севастьянович не будет, а просто сделает из него чучело – ворон пугать. В самом начале свадьбы Иван Севастьянович разлохматил гладко причесанные женой волосы, сорвал вместе с пуговицей на рубашке пестрый галстук и сел на две табуретки, чтобы гостям было солено, чтобы поняли, каков «суготский шибдик»! Мать невесты, наоборот, принарядилась, словно не Любка, а она выходила замуж, а бабы шепотом вспоминали, что Мария Васильевна смолоду во сне и наяву видела выйти замуж за культурного, а получился Иван Севастьянович, который, если напивался не в добре, а в злобе, кричал на всю деревню родной жене: «Культурного хотела? Культурного надо? А я вот некультурный, но мене трехсот рублей на комбайнишке не выколачиваю. А твои культурные – сто двадцать. Четушку не укупшишь после бани...»

Иван на свадьбе пить не отказывался, наливал вместе со всем народом, но хмель, его, как всегда, не брал. А вот песни Иван пел охотно, так как вообще любил попеть, если собирается много знакомых людей: на сердце хорошо делается. Про Ермака пели, «Каким ты был, таким ты и остался» орали, про солдата жалобно тянули и, конечно, про рябину: как ей нельзя к дубу перебраться. После этой песни Иван вовсе затосковал и, не дождавшись конца песен и крикам «горько», вышел втихомолку на улицу, прислонился спиной к тальниковому пряслу, подышал весенней ночью на полную силу, а затем, подняв глаза, увидел одинокую звезду, такую яркую, словно и не звезда колола зрачки зеленым разительным лучом, а длиннохвостая комета. Ванюшка с придыханием скрежетал зубами... Зачем ему завтра утром просыпаться? В школу, хоть и последние уроки, он больше ходить не будет – зачем? Нет же Любки Ненашевой! И вечером в клуб тащиться не надо, и на улице одну Любку он не встретит: молодые мужья не любят от себя молодых жен отпускать, особенно таких, как Любка, до свадьбы порченная.

«Жаканом себя в лоб звездануть – тоже не гладкое дело! – думал Иван, норовя увернуться от пронзительного света наглой звезды. – Из ружья в лоб или рот закатаешь – скроются тебя без головы. Горе одно, а не покойник». Вот так, невесть о чем думая, пошел Иван по улице Первомайской и вышел на Вторую Трудовую. В родном доме горел свет во всех окошках, дым валил из трубы и радио орало, словно в доме тоже большую свадьбу играли. Мать Прасковья Ильинична, знатная телятница, будучи званой, на свадьбу не пошла, но, повстречав возле сельсоветского магазина мать Любки, слова ей дурного не сказала, а только постучала себе по голове согнутым пальцем. «Побойся бога, Ильинична! – испугалась Любкина мать. – Они ведь по взаимной симпатии... Чего же ты мне сердце на части рвешь? Не каменная я, я вся нервная, впечатлительная!» Мать на это ничего не ответила.

Иван вошел в родной дом, бросил кепчинку и плашишко на сундук, подумал и тоже сел на сундук, чтобы не мешать матери сидеть возле радиоприемника и вертеть подряд все ручки, словно умом тронулась: одиннадцатый час шел, полдеревни сидело на свадьбе у Ненашевых, вторая половина – на последнем сеансе кино «Мертвый сезон», а мать – поклявшись, умом тронулась! – накрыла на стол, выставив и водку и богатую закуску: телятница Прасковья была не только знатной, но и денежной, иные месяцы больше председателя колхоза бумажками получала, а уж натурой – куда там председателю!

– Мам, ты почему распинаешься? – осторожно спросил Иван.

– Дурак дураком!

Мать нашла радиостанцию «Маяк», сделала звук потише и выпрямилась, с ног до головы нарядная.

– Был дурак, дураком и останешься... Иван рассудительно сказал:

– Ругаться, мам, просто. Ругаться, мам, всего легче... А ты лучше скажи, чего масленицу развела?

Иванова мать начала улыбаться так, как улыбаются по телевизору друг другу главы государств, когда, подписав договор, обмениваются здоровенными черными папками.

– Чего, говоришь, масленицу развела? – крикливым шепотом спросила мать. – А вот того развела, что у нас с тобой – большой праздник! Просто Первомай, что эта зараза Любка взамуж вышла и от тебя отвалилась. Я только одного боюсь: он с Любкой не совладает.

– Как так?

– А всяко... Ну садись за стол да выпьем, что нас большая беда миновала... Шишка с кедры – на землю, любой подберет.

Сердце у Ивана болело, точно его раскалеными щипцами пробовали взять, глаза косили – значит, сильно переживал.

– Не будет нынче хорошего ореха! – сказал Иван. – Белка волнуется, и бурундук кригочет жалобно... Ты чего, мам, ровно онемела?

– Ой да господи, ой, лишеньки! У меня ж пирог перегореть может. Ой, бегу, Ванюшенька, ребеночек мой непутевый. Ой, лишеньки, корка у пирога огнем-пламенем полыхат!

А на свадьбе – потом рассказывали – Марат Ганиевич мало-помалу наклонялся из своей культурной рюмки, читал стихи уже безостановочно и непонятно, словно корова жвачку хрумкала. Начнет: «Твоих плечей мелованная бель...», – а съется – «Всему миру говорю: слава, слава Октябрю!» И опять из маленькой рюмки клюкнет, иначе выхода нету: каждый гость подходит по отдельности к жениху, горячо поздравляет, а потом требует выпить до дна – каторжное дело, если ты в груди узкий, а гости своего зелья в подарок понаволокли. Сначала Марат Ганиевич попробовал медовухи, потом – заведенной на спиртовом колобке браги, которая быка с ног свалит, затем самогонку, что от спички горит синим пламенем, а напоследок вино «Цинандали», которое закусил сандвичем. Как раз в это время с важной речью начала выступать мать невесты, Мария Васильевна. Она тоже здорово набралась всякого зелья, но разговаривала бойко, хотя сразу впала в ошибку: обращалась не по адресу.

– Я на тебя, Прасковья, до конца жизни сердце держать буду! – сказала она, хотя знатной телятницы на свадьбе не было. – Тебе как шибко известной место возле меня было забронировано, а ты – хвост трубой. Ты думаешь, чего мы тебя приголубливаем? За твои красивы глаза, думаешь? Или за то, что во всей области, говорят, лучше тебя телятницы нету? Нет, Прасковья, мы через твоего Ванюшку к тебе ласку имеем, как он человек человеческий и глазом добрый. Мы ему уваженье, а не тебе, Прасковья, старая моя подружка. – Да как закричит: – Я что тебе – колдунья? Может, моя материнска власть дочь Любку на твоем Ваньке женить? Да у нее со мной разговор один: «Мама, вы ничего не понимаете!»

– Молчать! – крикнул отец невесты Иван Севастьянович. – Это я тебе, во-

первых, говорю, а во-вторых, кто тебе в пренъях слово давал? Сядь себе и не поноси Прасковью! Я, почитай, рядом лежал, когда в ее мужа Василия попал тот проклятый осколок замедленного действия, который его потом в могилу свел...

Шум, конечно, большой начался. Одни кричали за Прасковью, другие – не поймешь за кого, но Иван Севастьянович беспорядки прекратил. Как гаркнет:

– Молчать и дыханье пресечь! Я, может, еще два слова сказать хочу... Я кто есть? Отец? Во!... Любка! Любка, повторяю!

Невеста вроде бы обрадовалась: – Слушаю, папочка! Я вся внимание.

Иван Севастьянович усмехнулся и так тихо, что у всех зазвенело в ушах, сказал:

– Дура! Набитая!

На свадьбе, понятно, стало тихо и душно, точно в деревне перед грозой: было слышно, как на электростанции гудит дизель, а в остальном – ни звука. Глухая была ночь.

– Советский суд! – покачиваясь, сказал Марат Ганиевич. – Согласно Конституции, советский суд...

– Суд? – закричал Иван Севастьянович. – Ты мне про суд говоришь... Да я сейчас тебя в бумагу раскатая! Да я...

На этом месте поднялась мать невесты и тоже давай кричать:

– Дорогие и любимые гостиныки, теперь, пожалуйста, покушать да испить в доме невесты-красавицы! Уж я так старалась, что стол ломится. Не обидьте, пожалуйста, любимые гостиныки!

Улица Первомайская была широкая, точно городская, но дорогие любимые гости в улицу не вместились: ревя песни и хохоча, пошли ордой, а кто попьянее, прижался к палисадникам, чтобы с землей не целоваться. Дядя Сидор, колхозный пастух, к примеру сказать, по каждому палисаднику, словно по лестнице, лез. Перебирает руками жердочки, и так у него ладно получается – метр за метром шпарит вперед да еще и песню играет: «Стань, казачка молодая, у плетня...» На глазок прикинуть, гостей всего сорок человек, от силы пятьдесят, аказалось – вся деревня поднялась и пошла стенкой на другую деревню. Главное, вот что не понять: песни гости пели разные, а все равно получался «Шумел камыш...». А дед Евлампий – сто лет, не меньше – орал «Солдатушки, бравые робятушки...» и вместо барабана стучал кирзовым сапогом во все тесовые ворота, какие на пути попадались. Деревня, конечно, и без того не спала из-за свадьбы Любки Ненашевой, а тут кто и придревмат живо бросался к темному окну, чтобы при луне посмотреть, как женится сам Марат Ганиевич Смирнов, человек культурный. А Любка, то есть молодая, пела «Как хорошо быть генералом», – ей такое на ум пришло! А Марат Ганиевич ничего не пел, шатался из стороны в сторону, чуть не падал и от этого тонко хохотал, точно его щекотали под седьмое ребро. Про-хохотается, выпрямится, постоит на месте, и снова начинает падать, и опять хотят. Любку Ненашеву, невесту, он не узнавал и, когда допадывал до какой-нибудь живой женщины, говорил нежно: «Дорогая! Миль пардон!»

– «Стану, стану генералом, если капрала переживу...» – пела совсем трезвая Любка Ненашева.

2

Целый месяц – срок немалый – Любка с учителем Маратом Ганиевичем

Смирновым, снаружи смотреть, жили тихо и мирно. Как начался июнь, вставали через день в половине одиннадцатого, сонные, измятые, шли на Обь купаться. Потом пили чаи с разными вареньями и магазинными калачами, а затем Марат Ганиевич у открытого окна садился стихи писать – он им всю жизнь свою решил посвятить. Ему, наверное, способнее стихи было писать возле окна, потому что всех видят, кто по улице идет, кто на скамеечке сидит. Посмотрит-посмотрит в окно – опишет, опять посмотрит – снова опишет. В четные дни Марат Ганиевич вставал рано, Любку не будил, попив холодного, вчерашнего чаю, шел принимать школьные экзамены.

Десятого июня приносят людям районную газету «Советский Север», люди берут ее в руки и сразу видят, что черными большими буквами написано «Родина», а чуть повыше: «Марат Смирнов». Ну деревня забушевала! Уж до чего старый старик Евлампий, так и тот читал при всем честном народе:

Скоро самый последний звонок прозвенит,
Солнце весело встанет в полдневный зенит...

В этот день, говорят, учитель Марат Ганиевич Смирнов купил сто номеров газеты «Советский Север», прочел каждую и так утомился, что спал без просыпу до позднего вечера, а проснувшись, перепугал Любку словами: «Кофе прошу!», – хотя вчера говорил, что кофе да еще в постели пьет только самоубийца. Вредный для сердца продукт – кофе.

Все эти весенне-летние дни Иван жил медленно, тихо, смутно, точно угорелый после бани. В девятый класс он все-таки доходил, а десятый решил кончать в вечерней школе и, записавшись в нее, заговорил с матерью о колхозной тракторной работе. Знатная телятница Прасковья до того обрадовалась, что давай сына целовать-обнимать, и назавтра Иван пришел к колхозному председателю Спиридовону Якову Михайловичу, сел на хороший бархатный диван и стал слушать председателя, который изо всех сил старался скрыть торжество, что в трактористы просился сам Иван Мурзин, который еще школьником был головастей и попроворней всех колхозных трактористов-рекордсменов.

– Ну что ж, Иван Васильевич, – начал говорить председатель Яков Михайлович, – решение сочетать работу в колхозе с учебой в вечерней школе вы приняли правильно, но со мной директор школы вчера два часа толковал. Он утверждает, Иван Васильевич, что вы обладаете выдающимся математическим талантом, говорит, есть у вас прирожденная математическая шишка – так он выразился. Одним словом, директор утверждает, что вы можете стать выдающимся математиком, гордостью нашей науки... – Председатель Яков Михайлович снял очки. – Придется вам поднатужиться, дисциплинироваться, тем более что... – Он снова надел очки. – Понимаете, Иван Васильевич... Председатель опять замялся, а Ванюшка хмуро сказал:

– Это вы насчет того, чтобы меня на старый трактор посадить?

– Совершенно верно, Иван Васильевич! Исстари заведено, что начинающие механизаторы берут под опеку повидавшую виды машину, проходят на ней тернистый путь познания тракторной механики, а уж затем получают новый механизм, иными словами, трактор... Думаю, что и ты, Ванюшка, сочтешь за честь вдохнуть жизнь в старую машину.

Ванюшка хмыкнул.

– Что? Спрашиваю: что? – подозрительно проговорил председатель. – Вам,